

# Трубка старого еврея

Когда ослу говорят, что впереди ночлег, а позади враг, осёл ревёт и поворачивается назад. На то он осёл. А кроме ослов, никто против истин явных и вечных возражать не станет. Когда салоникский старьёвщик Иошуа попросил у меня за старую трубку из красной левантской глины с жасминовым чубуком и янтарным наконечником две лиры, – я смутился, ведь в табачной лавке такая же трубка, чистенькая, новая, без трещин, стоила всего два пиастра. Но Иошуа сказал мне:

– Конечно, лира не пиастр, но и трубка Иошуи – не новая трубка. Всё, созданное для забавы глупых, старея, портится и дешевет. Всё, созданное для улады мудрых, с годами растёт в цене. За молодую девушку франтик платит 20 пиастров, а старой потаскухе он не даст и чашки кофе. Но великий Маймонид в десять лет был ребёнком среди других детей, а когда ему исполнилось 50 лет, все ученые мужи Европы, Азии и Африки толпились в сенях его дома, ожидая, пока он выронит изо рта слово, равное полновесному червонцу. Я прошу у тебя за трубку две лиры, ибо каждый день я её семь раз курил, кроме дня субботнего, когда не курил вовсе. И в первый раз я её закурил после смерти моего незабвенного отца Элезара бен Элиа, мне было тогда 18 лет, а теперь мне 68. Разве 50 лет работы Иошуи не стоят двух лир?

Я не уподобился ослу и не стал возражать против истины. Я дал Иошуе две лиры и поблагодарил его от всей души за достойное наставление. Это так растрогало старого старьёвщика, что он попросил меня зайти в дом. Усадил в покойное кресло между бабушкой, давно разбитой параличом, и правнуком, восседавшим на ночном горшке, угостил сразу всей сладостью и горечью евреев, а именно – редькой в меду, и продолжил свои поучения, может быть, из природного прозелитизма, а может быть, в надежде получить и за них добрые турецкие лиры.

Я услышал много высоких абстрактных истин и мелких практических советов. Я узнал, что когда рождается кто-либо, надо радоваться, ибо жизнь лучше смерти, а когда кто-либо умирает, огорчаться тоже не следует, ибо смерть лучше жизни. Я узнал также, что, купив меховую шапку, лучше всего побрызгать её лавандовой настойкой, чтобы покойный бобёр не испытал посмертного полысения, и что, скушав много пирожков на бараньем сале, надлежит закусить их лакричником и неоднократно мягко потереть свой живот справа налево, дабы избавиться от изжоги. Я узнал ещё много иного, хотя и не вошедшего ни в Талмуд, ни в Агаду, но необходимого каждому еврею, желающему всесторонне воспитать своих сыновей. Со временем я, вероятно, издам эти поучения салоникского старьёвщика Иошуи, пока же ограничусь изложением одной истории, тесно связанной с моим приобретением. Истории о том, как и почему юный Иошуа начал курить трубку из красной левантской глины с жасминовым чубуком и янтарным наконечником. Я передам эту историю во всей её красноречивой простоте. Мудрость древнего народа в ней сочетается с его неуёмной страстностью, принесённой из знойной Кнаанской земли в степенные и умеренные страны рассеяния. Я знаю, что она покажется многим кощунственной и что, пожалуй, иные евреи станут даже оспаривать, что я действительно обрезанный еврей, несмотря на всю очевидность этого. Но история трубки Иошуи скрыта под грубой оболочкой благоуханная истина, а против истины, как я уже сказал, возражают лишь ослы.

Пятьдесят лет тому назад престарелый Элезар бен Элиа заболел несварением желудка. Вероятно, за свою жизнь он съел немало пирожков на бараньем сале, и т.к. сыновья отцов не учат, тем паче мёртвых, то и Иошуа, узнавший много позднее о целительных свойствах лакричника, в те дни никак не мог облегчить страдания отца. Почувствовав приближение конца, Элезар бен Элиа собрал вокруг своего ложа четырёх сыновей: Иегуду, Лейбу, Ицхока и Иошуу. Кроме четырёх сыновей, у Элезара бен Элиа были ещё четыре дочери, но он не позвал их, во-первых, потому, что все они были замужем, во-вторых, потому, что женщине незачем присутствовать там, где один мужчина поучает другого. А именно для мудрых наставлений собрал Элезар своих сыновей. Прежде всего, он обратился ко всем четырём с проникновенным вступлением: „Суета сует, всё суета и томление духа”, но так как это было отнюдь не ново и все четверо в своё время

в школе за лёгкое искажение приведенного текста ощущали прикосновения длани учителя к пухлым детским щёчкам, то, услышав знакомые слова, они нисколько не изумились, а терпеливо стали ждать дальнейшего. Отец попытался подкрепить мысль Экклезиаста опытом своей долгой и тягостной жизни. За 75 лет он познал суетность всех желаний и заклинал сыновей отгонять от себя всяческие вожеления. Жизнь, по его словам, была подобна бабочке: прекрасная издали, пойманная, она линяет и мараёт пальцы человека своей жалкой пылью. Мечтать о чём-либо – значит обладать многим, получить что-либо – значит тотчас всё потерять. Но и эти глубокие истины показались сыновьям похожими на нечто, много раз слышанное между библейской дланью учителя и освежающими розгами, поэтому они почтительно попросили отца перейти к сути дела. Тогда Элезар бен Элия подозвал к себе старшего сына Иегуду.

– Когда я был молод, как ты, я вздыхал о любви. В синагоге, вместо того чтобы честно молиться, я задираю голову вверх и глядел на женщин, напоминавших ласточек, щебечущих под крышей дома. Однажды, проходя мимо турецкой бани, я услышал звук поцелуя и нашёл его более прекрасным, нежели напев молитв утренних или вечерних. Будучи скромным и бедным евреем, сыном мудрого меховщика Элии, я не мог пойти в кофейни или в бани, где греки и турки получали за несколько пиастров для глаз – оперенье заморских ласточек, для уха – серебряный звон поцелуев, для носа –дыханье розового масла и чёрных, нагретых солнцем волос, для пальцев – прикосновение кожи, более мягкой, нежели смирнские ковры, для языка – слюну, которая слаще критского вина. Всё это было не для меня. Но господь снизошел к бедному Элезару, и, протомившись в сладчайшем ожидании три года, я нашёл, наконец, дочь Боруха, портного из Адрианополя – Ребекку, твою мать. Правда, с виду она походила на лысеющую ворону, кожа её была жёстче булыжной мостовой салоницких набережных, её поцелуи грохотали, как удары палкой по жестяной кастрюле, запах, исходивший от неё, состоял из пота, горчичного масла и камбалы, а слюна её напоминала рыбью желчь. Но Ребекка была честной еврейской девушкой, не погнушавшейся выйти замуж за бедного Элезара. Сын мой, я не допущу плохого слова о твоей покойной матери, да будет земля ей легче верблюжьего пуха! Но, умирая, скажу тебе: я знал любовь до того часа, когда познал, наконец, что такое любовь. Я оставляю тебе наследство – оловянное кольцо, которое я некогда надел на грязный палец Ребекки. Носи его. На твоей руке оно будет счастливой любовной сетью, на женской – станет для тебя каторжной цепью.

– Отец, – возразил Иегуда, – твоя жизнь лучше твоих поучений. Если бы ты только мечтал о турецких банях или о греческих кофейнях, ни я, ни мои братья не увидели бы света.

Сказав это, он взял оловянное кольцо и вышел.

По словам Иошуи, подарок отца и его наставления помогли Иегуде счастливо прожить свой век: он стал немедленно и с редким усердием искать себе невесту, встретился вскоре с красивой и к тому же богатой дочерью купца Ханой и, умиленный, надел на её розовый пальчик скромное отцовское кольцо.

Далее Элезар бен Элия стал поучать второго сына, Лейбу:

– Увидав, что любовь только сон, я обратился к веселью. Я завидовал всем, кто смеялся, пел и плясал. Я смотрел издали на танцы греческих свадеб, прислушивался к песням арабов, бродил по базарам и, встречая ватагу пьяных забулдыг, восторженно ухмылялся. Мне не было весело – очень трудно, чтобы бедному еврею, у которого к тому же жена и дети, было весело, но я верил, что, если сильно захотеть, можно развеселиться. Я начал тихонько от твоей матери Ребекки прыгать, закидывать вверх ноги и мотать головой, как это делали ловкие греки. Я даже достиг искусства, подражая одной турчанке, которая плясала на базаре, двигать своим тощим вислым животом так, чтобы тело при этом оставалось неподвижным. Закончив танцы, я приступил к песням. Я изучил щебет греков, плач турок, любовные вздохи арабов и даже странные звуки, напоминавшие икоту приезжих австрийцев. Постигнув все тайны веселья, я продал свои последние штаны, купил на них бутылку вина и, выпив её до дна, принялся веселиться, т.е. танцевать, петь и смеяться. Но веселье вблизи оказалось очень скучным. Сын мой, заклинаю тебя,

удовлетворись тем, что другие веселятся, сам же ходи всегда с опущенной вниз головой – и ты будешь счастлив. Я оставляю тебе в наследство пустую бутылку. Когда жажда веселья овладеет тобой, подыми её высоко и долго гляди на пустое доньшко.

Это поученье, казалось, должно было упасть на благодатную почву, ибо Лейба с рождения отличался редкой угрюмостью. Когда во время радостного праздника Симхат Тора он приходил в синагогу, дряхлые, выжившие из ума праведники, глядя на его унылое, постное лицо, думали, что они перепутали дни календаря, и начинали петь молитвы, приуроченные ко дню разрушения Храма. Выслушав слова отца, Лейба всё же заинтересовался неизвестными ему дотоле вокальными и хореографическими способностями Элеазара бен Элии.

– Отец, покажи мне, как ты веселился, и я навеки познаю тщету этого занятия.

Элеазар горячо любил своих детей, и, несмотря на 75 лет, а также на несварение желудка, он привстал с ложа и принялся подпрыгивать, выставляя вперёд морщинистый живот, бегать рысью, скакать галопом, икать, как сто австрийцев вместе, и чирикать, как маленькая канарейка. Труды его не пропали даром – Лейба, до этого дня никогда не улыбавшийся, громко расхохотался, он даже не смог ничего ответить отцу, гогоча и дрыгая добродетельными худыми ножками. Наконец, схватив пустую бутылку, он выбежал прочь.

Жизнь его также сложилась хорошо под светлым впечатлением отцовских заветов. Став самым весёлым человеком Салоник, он открыл балаган на главном базаре и неплохо зарабатывал. Никто не умел лучше его ворочать животом, издавать низкие утробные звуки, исполнять на пустой бутылке похоронные арии, так, что жирные греки со смеху катались по полу, подобные розовым небесным мячам.

Несколько смущённый сильным впечатлением, произведенным на Лейбу его мудростью, Элеазар бен Элия сказал третьему сыну, Ицхоку:

– Познав тщету веселья, я раскрыл книги и перешёл к наукам. Но – бедный еврей – я должен был довольствоваться тремя книгами: молитвенником, арабским толкователем снов и руководством к взысканию процентов. Я прочёл их с начала до конца так, как читают евреи, потом ещё раз с конца до начала, согласно обычаю христиан, и, увы, я всё понял. А знание лишь тогда заманчиво, когда кажется непостижимым. Я узнал, что, если бы я действительно был праведным и не занимался вращением своего живота, то Б-г наградил бы меня, Элеазара, и весь мой род до двадцатого колена включительно тучными пастбищами, также, что, если бы мне приснились когда-нибудь белые мыши, я получил бы наследство от богатого тестя, хотя никакого тестя, даже бедного, у меня давно нет, наконец, что, если бы кто-нибудь был мне должен один пиастр, я смог бы по всем правилам подсчитать, сколько процентов приросло на этот пиастр. Всё это наполнило меня скукой. Я уже готов был презреть науку, как презрел раньше любовь и веселье. Но новые соблазны открылись передо мной. Мать твоя, Ребекка, ненавидела мои книги и раз, воспользовавшись тем, что я, подсчитывая проценты, задремал, обратила все три тома на растопку жаровни. Она пощадила только кожаные переплёты, которые казались ей вещами безвредными и даже имеющими ценность. Плача над гибелью книг, хотя и разоблачённых мною в их лжемудрости, я сжимал переплёты, подобно одеждам дорогого покойника. Вдруг я заметил, что к коже, облачавшей молитвенник, приклеен листок с письменами на неизвестном мне языке. Я сразу догадался, что именно здесь таится непостижимое знание. Я отнёс листок к мудрому Абраму бен Израэль, и он сказал мне, что эти слова написаны на голландском языке, ему неизвестном. Сын мой, второй раз в жизни я продал самую необходимую вещь – штаны и купил учебник голландского языка. По ночам, когда Ребекка спала, я изучал тысячи труднейших слов, у которых, как у диковинных цветов, были труднейшие корни. Прошло три года, пока, наконец, я смог разобрать, что было написано на листочке, приклеенном к коже, облакавшей когда-то молитвенник. Это были советы, как лучше всего шлифовать крупные алмазы. Но никогда я не видел никакого, даже самого мелкого алмаза. Правда, на берегу моря я находил порой блестящие камешки, но они не поддавались никакой шлифовке. Я оставляю тебе этот листок, как явное

свидетельство тщеты знания. Удовлетворяйся приятным сознанием, что на свете много непонятных языков и непрочитанных книг. Пусть другие учатся, портят глаза и жгут зря масло.

Ицхок поблагодарил отца за листок бумаги с переводом, тщательно приписанным к нему рукой Элезара бен Элии, и сказал:

– По-моему, ты не напрасно изучал голландский язык. Масло всё равно бы сгорело, и твои глаза всё равно бы испортились, потому что маслу подобает сгорать, а глазам с годами портиться. По крайней мере, ты меня научил, как надо шлифовать крупные алмазы. Кто знает, может быть, я найду другой листок, где будет сказано, как разыскать эти камни, и стану самым богатым купцом Салоник, Иошуа рассказал мне, что Ицхок действительно разбогател. Правда, он не нашёл трактата о том, как находить крупные алмазы, но, очевидно, другие прочитанные им фолианты дополнили наследство отца, т.к. он открыл мастерскую фальшивых бриллиантов. Дела его идут блестяще, и совесть его чиста, ибо если в Талмуде и осуждаются фальшивомонетчики, то там ничего не сказано о тех, кто честно изготавливает фальшивые камни.

Отправив трех старших сыновей, довольных назиданиями и наследством, Элезар бен Элия остался вдвоём с младшим сыном Иошуйей, который тогда был глупым юношей без определённых занятий, а теперь считается самым уважаемым старьевщиком города Салоник.

– Младший и любимый сын, – проникновенно начал Элезар, – когда ты родился, я был уже стар и мудр. Я больше не предавался ни наукам, ни веселью, ни любви. Я даже не понимаю толком, кстати будь сказано, несмотря на свою мудрость, как это случилось, что ты родился. Я долго думал о том, чем мне теперь заняться и чем заменить шершавые бёдра твоей матери Ребекки, пустую бутылку и сгоревшие на жаровне книги. Размышляя, я выходил вечером на улицу и видел, как на порогах домов турки, греки, евреи курят длинные трубки с чашечками, подобными раскрывшимся цветкам тюльпана. Я уже заметил прежде, что люди, предающиеся любви, веселью и наукам, быстро устают от своих занятий. Турок, подбирая шаровары, спешит уйти от десяти самых прекрасных жен. Грек, выпив критского вина, пропев и проплясав, ложится на мостовую и начинает корчиться от усталости, а порой и от тошноты. Самый мудрый еврей засыпает над Талмудом. Очевидно, трубка была выше прочих усад, ибо никто не уставал подносить её к вечно жаждущему рту. Дойдя до этого, сын мой, в третий и последний раз я продал штаны, незадолго перед этим сделанные Ребеккой из её свадебного платья. На вырученные два пиастра я купил себе хорошую трубку из левантской глины, с жасминовым чубуком и янтарным накопником. Но когда я принес её домой и, распечатав пачку смирсского табаку, готов был поднести уголек к тюльпановым лепесткам, голос мудрости остановил меня.

„Элезар, – сказал я себе, – неужели ты напрасно ласкал Ребекку, вертел животом и изучал голландские корни? Зажжённая трубка окажется хуже никогда не изведанной. Глупец, не дай твоему счастью уйти вместе с дымом!“ С этого дня каждый вечер я вынимал из-под кровати тщательно хранимую от ревнивых взоров Ребекки заветную трубку и благоговейно касался губами золотого янтаря. Он напоминал мне солнце и кончики грудей прекрасных женщин в турецких банях, которых никогда не сможет увидеть наяву бедный еврей. Я вдыхал запах жасминового дерева, и ствол как бы зацветал белыми хлопьями. На нём пели соловьи лучше, чем самые искусные греки. Красная глина мне напоминала о священной земле, где покоятся кости патриархов и пророков, со всей мудростью, которая больше книг еврейских и даже голландских. Так, не куря, я был со своей трубкой счастливее всех турок, греков и евреев, на порогах домов безумно испепеляющих своё счастье. Сын мой, я оставляю тебе эту трубку, и я молю тебя – не вздумай огнём осквернять её холодное девичье тело!..

Велико было негодование молодого Иошуи, услышавшего эти речи.

– Отец, если бы ты не плевал в трубку, подобно евнуху, а курил бы её толком, обкуренная, она стоила бы теперь, по меньшей мере, десять пиастров.

Иошуа был нрава буйного и горячего. Возмущённый потерей восьми пиастров, а пуще этого глупостью отца, прикидывающегося мудрым, он схватил трубку и чашечкой её, подобной раскрытому цветку тюльпана, ударил по лбу Элеазара бен Элиа. Вопреки общепринятому мнению о том, что левантская глина отличается хрупкостью, трубка осталась целой, хотя лоб мудрого Элеазара бен Элии славился в Салониках своей крепостью, достойной мрамора. Зато Элеазар вскоре после этого закрыл навеки глаза, испорченные чтением голландских трактатов. Конечно, Иошуа и его благородное негодование тут ни при чём. Как явствует из предшествующего, старик был готов умереть от несварения желудка и, закончив наставления ввиду отсутствия пятого сына, привёл свои намерения в исполнение.

Иошуа, не задумываясь в ту минуту над юридическим или медицинским объяснением непосредственных причин смерти Элеазара бен Элии, побежал в кухню, достал из жаровни уголек и быстро закурил унаследованную трубку. С тех пор в течение 50-ти лет он не расставался с нею. Будучи человеком богомольным и праведным, он впоследствии заинтересовался своим поступком, предшествовавшим кончине отца, и, подумав, нашёл его угодным Б-гу. За почитание родителей полагается долголетие, но т.к. Иошуе исполнилось уже 68 лет, и он обладал ещё отменным здоровьем, то ясно, что никакого непочитания с его стороны не было.

С другой стороны, сам Элеазар перед смертью намекнул Иошуе, что причины рождения сына неясны так же, как оказались впоследствии неясны причины смерти отца. Наконец, заповеди, подобно всем законам, даны для повседневного употребления, а не для таких исключительных случаев, как унаследование сыном необкуренной трубки лжемудрого отца. Итак, Иошуа курил свою трубку до 68 лет и продал её лишь потому, что, надеясь прожить ещё по меньшей мере 30 лет, решил обкурить вторую трубку, удовлетворенный первой, давшей почти две лиры чистой прибыли.

Я бережно храню трубку Иошуи, часто закуриваю её вечером, лёжа на диване, но никогда не могу докурить до конца. Это объясняется не её вместительностью, а исключительно высокодуховными переживаниями. Каждый раз, когда я касаюсь губами янтарного наконечника, я вспоминаю жалкую жизнь Элеазара бен Элии, увенчавшуюся слишком поздним уроком Иошуи. Я принимаю сожалеть не о том, что было в моей жизни, а о многом, что только могло быть, и чего не было. Перед моими глазами начинают рябить карты неизвестных мне стран, разномастные глаза не целовавших меня женщин, пёстрые обложки не написанных мною книг. Я кидаюсь к столу или к двери. А так как нельзя ни путешествовать, ни целоваться, ни писать рассказы с огромной трубкой, напоминающей раскрытый цветок тюльпана, то она остается одна, едва согретая первым дыханием. А посмотрев новый город, где люди, как всюду, плодятся и умирают, поцеловав ещё одну женщину, которая, как все, сначала читает стихи, а потом, похрапывая, спит, написав рассказ в полпечатного листа, похожий на тысячи других рассказов, – о любви или о смерти, о мудрости или о глупости, я возвращаюсь на тот же протёртый диван и с сожаленьем спрашиваю себя, почему я не докурил моей трубки?

Так за две турецких лиры я приобрёл вещь, которая в зубах другого явилась бы источником блаженства, а в моих напоминает Танталову чашу, пенящуюся рядом и трижды недоступную.

**Илья ЭРЕНБУРГ.**